

# СТУПЕНЬКИ ПАМЯТИ

У меня есть внуки. Взрослые. Химик, архитектор и режиссер. Я иногда рассказываю им про разные случаи из моей жизни. Им интересно. Жизнь-то у меня долгая. Родился с веком.

Вот я и подумал: раз моим внукам интересно, так, может быть, будет интересно и другим внукам моего поколения, тем, кому сейчас двадцать, тридцать, сорок.

Все, что было в жизни, рассказать невозможно, но у каждого человека есть ступеньки памяти, по которым он может пройти по своей жизни, как по лестнице.

Все ступеньки моей памяти будут опубликованы, а здесь помещены двадцать третья, двадцать шестая и тридцать вторая.

Я ВСЕГДА думал, что если человек долго живет в одном городе, то, значит, у него полно друзей-знакомых и город он, конечно, знает наизусть. Так ничего подобного. Все как раз наоборот. Я родился в Москве. Больше восьмидесяти лет в ней живу. Так вы думаете, что я знаю город наизусть? Совсем не знаю. В детстве знал, когда в нем было не восемь миллионов, а восемьсот тысяч жителей, и завершился город, в общем, заставами: Преображенской, Дорогомиловской, Рогожской, Калужской. А Царицыно, Бирюлево, Вешняки были дачной местностью. Закинь меня сейчас на парашоте в какое-нибудь Бибирево, вы думаете, я догадаюсь, что Москва?..

Это, конечно, хорошо говорить: «Здравствуй, племя младое, незнакомое». Красиво, да грустно. Племя-то это — все мои дети. Мои внуки. А мое племя где?..

Я только что звонил сыну. Но как позвонить, как непонятно, что я не могу позвонить отцу, поехать на улицу, которая теперь носит его имя, и поцеловать мать. Спросить их о чем-то, что было со мной. Они помнят, обязательно помнят. И брату позвонить не могу. У него память куда лучше, чем у меня. Нет брата. Давно нету, хотя он и моложе меня был.

А нужно бы его спросить, потому что я хочу рассказать о том, как мы с ним папину дворянскую шпагу с испугу уничтожили.

КОГДА это было? Вот и не помню. Думаю, что весной восемнадцатого года. Значит, мне еще нет семнадцати, а брату — пятнадцать с половиной.

Мама с папой на работе. Мы одни с братом в квартире.

Прибегает какой-то человек и говорит, что по всей Вахрушинской обыски идут. «До вашего дома только два дома осталось». Мы тогда на Большой Вахрушинской жили, теперь она называется Большая Остроумовская. В деревянном доме. На втором этаже.

Что делать? Сейчас к нам придут большевики. Вдруг что-нибудь найдут. А что? Врде бы у нас ничего такого нет. Нет, есть. Да еще какое! Оружие. Папина дворянская шпага. Папа не дворянин. Разночинец. Сын купца третьей гильдии и малограмотной хозяйки шляпной мастерской,

гильдия самая маленькая, да и отца своего папа не помнит. Он умер, когда папе было шесть лет. Так при чем же шпага? А вот при чем. Отец мой был директором среднего строительного училища и по должности должен был представлять высшему начальству в дворянском мундире. А к мундиру полагалась шпага. Дворянская шпага. Красивая. В тоненьких ножнах.

Ну что с ней делать? Найдут шпагу, подумают, что мы буржуи или белогвардейцы. Расстреляют или в тюрьму посадят папу, а то и всех. Что делать? Уничтожить. Как можно скорее уничтожить.

Схватили шпагу, побежали во двор. Там, где сараи. Отопление-то у нас дровяное. Голландские печи. Значит, у каждой квартиры свой сарай. Достали два полена и колун. Вынули из ножен, положили на раздвинутые поленья. И со всей силой колуну. Шпага взвизгнула и врезалась в синее небо, продолжая как-то удивительно звучать. Упала. Три раза со звоном подпрыгнула и лежит. Целая, ни паранины, ни вмятины.

Бросили в колодезь, прибежали в квартиру, а папа с мамой уже вернулись. Рассказали папе. Он говорит: «Зря вы это. Ну да все равно, никому эта глупая шпага не нужна».

Тут и с обыском пришли. Ничего не нашли.

А мама говорит: «Господа, не хотите ли чаю?». Как это она сказала «господа»? Большевикам-то надо говорить: товарищи. Мы с Борисом замерли, а пришедшие говорят: «Не откажемся, гражданочка. Устали очень». Сели чай пить. Мама печенья дала. Разговорились.

Пришедшие, их двое было, стали папу расспрашивать. Что он делает. А он им интересно рассказал, что надо в Москве делать глубокий ввод. Это была его мечта, чтобы поезда могли сквозь город под землей проходить. И не надо тогда будет тем, кто на дачном поезде по Ярославке едет, на Каланчевке сходить и на трамвай пересаживаться, а доедет он хоть до центра, хоть дальше. А может, этот же поезд и по Павелецкой помчит. Очень интересно папа рассказывал.

Смотрел в Камерном «Саломею». Вот здорово! Как возникает трагическое, так красивый задник закрывается черным...

Борис Шалапин, сын настоящего Шалапина, тоже в мастерской Архипова. Наши мольберты рядом стоят. Он говорит, что его сестра повела отца в Камерный, кажется, на Фьямору Кифорез. В антракте спрашивает: «Ну как, папа?», а он говорит: «Беда». Жалко, что ему не понравилось.

У Мейерхольда «Лес». До сих пор помню, как Ильинский в несуществующей реке несуществующую рыбу ловил. Она у него с несуществующего крючка сорвалась, и он ее уже на земле схватил. Удивительный актер...

Все, что я сейчас рассказал, может, в разные годы было, но для меня все это объединено одним прекрасным словом «ВХУТЕМАС». Вот уж где императив «будет» жил в каждом дне, в каждой мастерской, в каждом студенте.

И в истории советского искусства

глазый, в клетчатых штанах, спитых матерью из плед. Застегаются они, не стесняясь, прямо видимыми здоровенными пуговицами. Вскрикивает на табуретку и кричит стихи Маяковского.

С тех пор и до самой его смерти мы дружили. Замечательный из него получился график и не менее замечательный живописец.

Приезжал Каменский. Громко читал паровозную литургию: «Шпалы, шпалы, шпалы мы» и еще — «Гимн сорокалетних»: «Что же мы, что же мы, что же мы, неужто ж размоложены, неужто нашей юности конец пришел». А я думаю, чего он хвалится. Какая уж тут юность, коли сорок.

В Политехническом музее Вересаев ведет вечер поэтов. Шершелевич читает: «А пока я не умер, простудя у окошечка, все смотря, не пройдет ли по Арбату Христос...» До сих пор помню. Потом молодой рыжеволосый парень по фамилии Есенин прочитал: «Я нарочно хожу нечесаный с головой, как керосиновая лампа на плечах». Серdito прочитал, будто мы в этом виноваты...

В той же большой аудитории Политехнического музея Художественный театр «Дядю Ваню» играет. Я пошел. На следующий день Архипов спрашивает: «Почему вчера на набросках не были?».— «А я, Александр Абрамович, «Дядю Ваню» смотрел».— «Тут обнаженная натура стоит, а вы на какого-то дядю Ваню ходите». Мне стыдно. Прав он. Настоящий художник. Вся жизнь его в этом. Действительно, ну какое отношение имеет какой-то дядя Ваня к углю, к движению обнаженного корпуса, к живописи, к тому, что возникает, если соединишь охру с кобальтом, и как загорается киновар, если рядом положишь изумрудную зелень или перманент. Ну при чем здесь дядя Ваня?

Смотрел в Камерном «Саломею». Вот здорово! Как возникает трагическое, так красивый задник закрывается черным...

Борис Шалапин, сын настоящего Шалапина, тоже в мастерской Архипова. Наши мольберты рядом стоят. Он говорит, что его сестра повела отца в Камерный, кажется, на Фьямору Кифорез. В антракте спрашивает: «Ну как, папа?», а он говорит: «Беда». Жалко, что ему не понравилось.

У Мейерхольда «Лес». До сих пор помню, как Ильинский в несуществующей реке несуществующую рыбу ловил. Она у него с несуществующего крючка сорвалась, и он ее уже на земле схватил. Удивительный актер...

Все, что я сейчас рассказал, может, в разные годы было, но для меня все это объединено одним прекрасным словом «ВХУТЕМАС». Вот уж где императив «будет» жил в каждом дне, в каждой мастерской, в каждом студенте.

И в истории советского искусства

ВХУТЕМАС останется навсегда. Подумать только, в школе живописи, ваяния и зодчества учились Архипов, Серов, Левитан, Врубель, Нестеров, Куинджи, а когда школа живописи превратилась во ВХУТЕМАС, то воспитал он Гончарова, Дейнеку, Вильямса, Пименова, Кукрыниксов.

Как я счастлив, что жил со всеми ими одним сердцем, одним жизненным ощущением «будет».

ЭТО БУДЕТ довольно длинный рассказ, потому что в нем много действующих лиц, без которых не обойдешься.

Мы живем на Новой Басманной, занимая половину одноэтажного флигеля. Три комнаты. Столовая. В ней отгорожен закуток в виде кишки с окном. В закутке — мы с Соней и Алешей. Папин кабинет, в котором книжными шкапами отгорожен закуток для Бориса, и небольшая спальня папы с мамой. Терраса выходит в сад. Большой проходной двор, и в нем еще два флигеля, а фасадом на улицу выходит трехэтажное здание рабфака, где деканом папа.

По двору коноводом мальчишек бегают Глеб Бакланов. Очень красивый и очень озорной. Хороший мальчишка.

В другом флигеле, окно в окно с моим закутком, живет его сестра с мамой и мужем, Наталья Владимировна Бакланова — скрипачка Художественного театра.

Я пою романс, пою, и вдруг стук в дверь кухни. Открываю — Наталья Владимировна. Очень молодая, очень скромная, стесняющаяся. Мы с ней мало знакомы, но во дворе все-таки встречаемся иногда. Пришла она, оказывается, для того, чтобы сказать, что в Художественном театре объявлен конкурс актеров в Музыкальную студию. Семь вакантных мест. «Пойдите, может, вас примут».

Наталья Владимировна говорит, что это очень интересный новый музыкальный театр, что в нем с огромным успехом идет «Дочь мадам Анго» Лекока и что если я туда поступлю, то это очень хорошо.

И я пошел на конкурс. Непонятно, зачем пошел. Никогда не собирался быть актером. В голову не приходило.

Пришел в театр. В знаменитый Художественный театр. В коридоре, подковой охватывающем партер, столики, у которых записывают пришедших. Записался.

Жду. Народу много. Профессионалы пришли. У стенок подошут горло, перелистывают ноты. Откашливаются в нос. А я кашлю нормально.

Вызвали. Сидит за столом комиссия. За роялем черный человек с синими щеками. Потом я узнал, что это главный дирижер Бакалейников. Спрашивает, какой у меня голос. Я говорю: кажется, тенор. «Что такое кажется? Пойте». Спел два романса: «Дивный терем стоит и хором много в нем» и «Я из дома бедных азров, полюбив, мы умираем».

Сказали спасибо, и я ушел. А что зна-

чит это спасибо, неизвестно. До меня пел какой-то баритон — «Перед воеводой молча он стоит». Я издали слышал. Ему тоже сказали — спасибо.

Вернулся домой. Пьем чай всей семьей. Меня спрашивают, а мне и рассказывать-то нечего. Конечно, не примут. Да я и не волнуюсь. Зачем мне надо быть актером.

Через два дня приходит Наталья Владимировна и говорит, что я допустил ко второму туру и мне надо завтра идти на этот самый второй тур.

Вот теперь мне уже хочется, чтобы приняли. Теперь я волнуюсь. Да еще на втором туре надо прочитать стихотворение. А какое? Я же на людях никаких стихотворений не читал. Ни в какой самостоятельности не участвовал. Какое же прочитать? Решил Бальмонта «Большой», трагическое стихотворение. Знаю наизусть. Прочту Бальмонта.

Пришел. Вызвали. Так же, как и в первый раз, приемочная комиссия сидит за столом в фойе. Только сейчас в центре стола Немирович-Данченко. Я догадался, что это он. И совсем испугался. Спел те же два романса, но в конце предпоследней фразы последнего романса на слове «азров» пускаю петуха. Бакалейников говорит: «Прошлый раз вы взяли это фадиез хорошо».

В полном испуге говорю стихи. Немирович сощурился, почесывает бородку и говорит: «Сколько вам годов?» Иронический вопрос понятен. По сравнению с остальными я шенок. Безусловно, моложе всех, да еще блондин, да еще небольшого роста, да еще худой, да еще ноги в черных обмотках, да какая-то синяя куртка с поясом вроде толстовки. Костюма у меня вообще нет.

«Сколько вам годов», я в испуге отвечаю: «Мне двадцать один лет». Вся комиссия смеется, а Немирович говорит: «Почему вы смеетесь? Он правильно ответил. Я ему сказал годов, а он говорит: лет».

На следующий день я сам пошел в театр и увидел себя в списке принятых.

Вот так фунт. Что же из всего этого получится?

Назавтра мы, все принятые, сидим на стульях в том самом фойе, в котором нас прослушивали. Семь незнакомых друг другу человек, как птички на семи стульях.

Ровно в десять входит Немирович. Мы встали. Он подходит к каждому, жмет руку и говорит: «Здравствуйте, Нина Петровна, здравствуйте, Григорий Васильевич, здравствуйте, Ольга Николаевна, здравствуйте, Сергей Владимирович».

Меня, мальчишку, назвал Сергей Владимирович. Наверное, перед тем, как войти, он всех нас наизусть выучил.

Здорово. Здесь уважают людей. Здесь я равный. Здесь я Сергей Владимирович. В какой же замечательный театр я поступил. Ведь и не мечтал об этом никогда.